



## Ф. СТЕПУН

### Историософское и политическое миросозерцание Александра Блока

Годы, описанные Андреем Белым в трех томах его воспоминаний: «Начало века», «На рубеже двух столетий» и «Между двух революций»<sup>1</sup>, представляют собой чуть ли не наиболее смутное время всей русской истории. Основной трагедией наплывшей на Россию мути является срыв наступившего после революции 1905 года религиозного возрождения русского сознания в богоненавистничество большевистской революции. Наиболее стремительно этот срыв произошел в кругах русских символистов, в братстве аргонавтов<sup>2</sup>, творчество которых исходило из мистики Владимира Соловьева. Наиболее яркими представителями этого срыва являются Андрей Белый и Александр Блок.

Белый в Советской России если не окончательно забыт, то, во всяком случае, замолчан. Советские литературоведы, если не считать «Литературного наследства», не работают над ним. Никто не старается превратить его в убежденного коммуниста, хотя бы и очень своеобразного. Украшением партии его, во всяком случае, не считают. Иначе обстоит дело с Блоком. О нем неустанно пишут, и все пишущие пытаются доказать, что он свой, что он был с Лениным, с революцией, был одним из тех черных буревестников, что поднялись над Россией в 1905 году. Некоторые исследователи защищают эту точку зрения весьма грубо, не ощущая всей сложности блоковской души и не чувствуя музыки его творчества. Но есть и другие, которые вводят единственного в своем исконном и пожизненном одиночестве поэта в близкий им коммунистический мир более осторожной рукой, как будто бы чувствуя причиняемую ими поэту боль. К таким исследователям относится прежде всего Владимир Орлов<sup>3</sup>.

Ставя себе задачу опровергнуть представление о Блоке, как о марксисте и коммунисте, я считаю все же правильным заранее признать, что и в высказываниях самого Блока и в его поведении в революционные годы нетрудно найти как будто бы достаточно основания для превращения его в подлинного попутчика большевизма.

В дневниках 1902 года Блок еще очень далек от большевизма и его идеологии. В нем он еще защищает необходимость возвышения чистого искусства до искусства религиозного.

Нет сомнения, как то правильно подчеркивают советские исследователи, что духонастроение Блока впоследствии весьма изменилось; повысился его интерес к политике, душа омрачилась тревогой за будущее и как будто бы отдалилась от той высокой мистически окрашенной духовности, в которой он жил, когда писал «Стихи о Прекрасной Даме». Отклики этих перемен бесспорно слышатся в дневниках 1911, 1912 и 1913 годов.

В дневниках 1912 года, говоря о реакционных кругах, в которых пахнет погромом во славу Божию, Блок внезапно вскипает гневной ненавистью против той утонченной духовной культуры, которую он, как мы видели, провозглашал в 1902 году: «Лучше вся жестокость цивилизации, все “безбожие” “экономической” культуры, чем ужас призраков времен отошедших; самый светлый человек может пасть мертвым перед неуязвимым призраком, но он вынесет чудовищность и ужас реальности. Реальности нам надо, страшнее мистики нет ничего на свете».

С этой теоретической установкой связано в том же дневнике весьма веское политическое признание: «Спасибо Горькому и даже — “Звезде”. После эстетизмов, футуристов, аполлонизмов, библиофилов запахло настоящим. Так или иначе при всей нашей слабости и безмолвии подкрадыванье двенадцатого года к событиям, отмеченным опять-таки в литературе».

Если бы приведенные цитаты проходили бы красной нитью через дневники 1911, 1912 и 1913 годов, то советское мнение о приближении Блока к миру революционного социализма и об его отходе от символизма было бы верно и защитимо. Но в том-то и дело, что никакой такой красной социалистической нити, связанной с отказом от символизма, в дневниках найти нельзя. Исходная тема Блока — тема Владимира Соловьева, отнюдь не исчезает из дневников. В записи от 27 ноября 1911 года встречается большая выписка из философского письма Чаадаева, в которой говорится о блужданиях современного человека, утратившего чувство своего непрерывного существования. Непо-

средственно под выпиской слова: «Господи, благослови, Господи, благослови, Господи, благослови и сохрани».

С этого же троекратного возгласа начинается и первая запись дневника 1912 года. Что эти возгласы не случайны, доказываются некоторыми очень интересными размышлениями Блока о волнующем его, но и далеком от него христианстве. Так, в записной книге от 3 декабря 1911 года Блок высказывает интересную мысль: «Насколько обо всем дохристианском можно говорить, потому что это наше, здешнее, настолько же о христианстве, если что и ведаешь, то лучше помолчать, чтобы не вышло беснования... Не знаем ни дня, ни часа, а он уже грядет, Сын Человеческий, судить живых и мертвых». Все это — не отвлеченные рассуждения, а отклики на постоянно тревожащие поэта переживания, о чем свидетельствуют многие рассеянные в дневниках замечания и возгласы: «Перед церковью, вероятно по привычке, перекрестился»... «Лампада у образа горит — моя совесть...» «Вечером напали страхи, ночью проснулся, пишу, — слава Богу, тихо, умиротворенность, помолился. Мама говорит, что постоянно молится громко и что нет никакого спасения, кроме молитвы...» «Если бы уметь помолиться о форме...»

Так же как в дневниках совмещается благодарность Горькому с молитвой об удаче формы, так же в них, да и в сочинениях, сочетается мысль, что хуже мистики ничего нет, с твердой защитой мистики, которой питается символизм. В статье «О современном состоянии русского символизма» Блок твердо причисляет себя к русским символистам. Его главой он признает Вячеслава Иванова. Рядом с ним называет Брюсова и Сологуба. Эти немногие названные им поэты являются, по его мнению, теургами. Этот соловьевский термин раскрывается в статье цитированием известного соловьевского стихотворения:

Тает лед, утихают сердечные вьюги,  
Расцветают цветы.  
Только Имя одно Лучезарной Подруги  
Угадаешь ли ты?

Подчеркивая ряд высказываний, резко противоположных прославлению Горького, я отнюдь не хочу сказать, что упоминание этого писателя было Блоком брошено случайно, вскользь, — отнюдь нет. Начавшийся в Блоке после 1905 года поворот в сторону революционности и дальше не мешал ему защищать символизм от тыловых нападений, которые постоянно печатались в горьковском «Знании». Все это в Блоке весьма загадочно, как загадочен и он сам. В нем ничего нельзя понять, если подвер-

гать его идеологическому расчленению. Его душа, его мирозерцание, а потому, конечно, и его творчество совмещают как будто бы совершенно несовместимые вещи. Но свойственная ему несовместимость и мыслей, и чувств, и устремлений не имеет ничего общего ни со всесовместимостью гегелевской диалектики, ни с мистической сосовместимостью Николая Кузанского. Его всесовместимость не синтез, а хаос. Этот хаос получается у него потому, что все его высказывания зависят от того душевного состояния, в котором он находится, от того человека, с которым он в данную минуту говорит, и от состояния мира, каким он его в данную минуту чувствует. Его мнения и чувства порождаются, таким образом, не объективными причинами, а как бы случайностями. В этом смысле стиль его мышления может быть определен термином субъективного окказионализма, который, по мнению немецкого ученого Карла Шмидта, характерен для всех романтиков.

Раздвоенность Блока граничит временами с шизофренией, но не снимает вопроса, кем он искони был и чем он со временем стал? Биографическая сторона вопроса известна всем, кто интересовался жизнью наиболее крупного поэта и теоретика серебряного века<sup>4</sup>.

Отец Блока был профессором государственного права, но любил искусство глубже и больше, чем науку. Музыка он не только любил, но был ею одержим. Когда он по вечерам играл у открытого окна, то слушать его собиралось много народу. Вспоминая игру отца в «Возмездии», Блок говорит:

Лишь музыка — одна будила  
 Отяжелевшую мечту:  
 Брюзжащие смолкали речи;  
 Хлам превращался в красоту;  
 Прямились сгорбленные плечи;  
 С нежданной силой пел рояль,  
 Будя неслыханные звуки...

Этими «неслыханными звуками» была напоена и душа поэта. Он явно унаследовал отцовскую одержимость музыкой, но в иной форме, чем она жила в отце. Вся философия истории Блока, его политическая страстность и его безумием окрашенное пристрастие к большевизму связаны с пониманием музыки как первостихии исторического процесса.

Чтобы убедиться в верности этого положения, достаточно вдумчиво прочесть написанную в 1919 году статью «Крушение гуманизма». Под гуманизмом Блок понимает «то мощное движение, которое на исходе средних веков охватило всю Европу

и создало человека, верного духу музыки». Понятие музыки встречается по несколько раз на каждой странице статьи. В мою задачу не входит изложение этой статьи, а лишь выдвигание музыки как основной категории блоковской историософии и его политических оценок. «Шиллер, — пишет он, — последний великий европеец, последний гуманист, последний из стаи верных духу музыки художников». Переходя в конце статьи к XIX веку, Блок констатирует постепенное умирание гуманизма как начала целостной культуры и целостного человека. Вместе с умиранием гуманизма умирает в Европе и начало музыки. И как бы предчувствуя революционный пафос разрушения, он уже в этой статье говорит, что от всего можно будет отказаться — от Реймского собора, от всех старых усадеб и многого другого, но не от духа музыки, против которого уже давно начала борьбу обездушенная западноевропейская цивилизация.

Без учета блоковского понимания музыки не в смысле искусства, а в смысле мистической первоосновы истории, в Блоке ничего нельзя понять, так как и революцию он с первых же моментов ее возникновения начал ощущать как рождение новой музыкальной волны. Все это не имеет ничего общего с революцией в понимании революционного марксизма.

Наряду с наследием отца на Блока оказала большое влияние и атмосфера, в которой он вырос. Прадед Блока был женат на Якушкиной, племяннице известного декабриста. Дед Блока был профессором Петербургского университета, был большим либералом и страстным защитником женского образования. Дух и стиль Бекетовского дома, в котором Блок вырос, в значительной степени определялся женою профессора, урожденной Карелиной, дочерью известного исследователя Азии. Эта талантливая и живая женщина хорошо владела французским, английским и немецким языками, была очень работоспособна и переводила, «служа народу», до двухсот листов в год. Этот народнический дух с ранних лет вошел в душу поэта. Этот же народнический дух, связанный с этикой кающегося дворянства и не чуждый толстовству, был — Блок это сам знал — ему гораздо ближе, чем рационалистическая идеология марксизма. В одном из своих писем он признается, что социалисты-революционеры были ему, в сущности, ближе, чем социал-демократы. Не было в Блоке только одного, чем всегда отличались народники-революционеры и выросшие из них социалисты-революционеры: не было в нем живого политического интереса и основанной на нем политической активности. Вспоминая в дневнике 1910 года о студенческих волнениях, он признается, что поли-

тические движения были ему совершенно неинтересны и он со скукой слушал «пустую болтовню». На просьбу отца сообщить ему подробности студенческих волнений, он ответил, что так далеко стоял от массовых выступлений, что вряд ли может сообщить отцу что-либо, чего бы он не знал. Но и много позднее, когда «на фронте было, по-видимому, очень неблагоприятно», Блок продолжал пребывать в состоянии политической пассивности и записывал в дневнике: «Я никогда не пойду в партию, никогда не сделаю выбора... для выбора нужно действие воли, которую нужно искать в небе, но небо сейчас пусто для меня... Мне нечем гордиться, я ничего не понимаю». Сомневаться в том, что Блок в конце концов выбрал большевизм, конечно, нельзя. Но еще меньше можно сомневаться в том, что его большевизм имел хотя бы отдаленное сходство с марксизмом-ленинизмом. Кто из ведущих марксистов-теоретиков и большевиков-практиков подписался бы под блоковской записью от 25 мая 1917 года: «Надо, однако, помнить, что старая русская власть опиралась на очень глубокие свойства русской души, на свойства, которые были заложены в гораздо большем количестве русских людей и в гораздо больших кругах, чем это принято думать “по-революционному”». И дальше: «Революционный народ — понятие не вполне реальное». В дневнике от 16 июня встречаются уже совсем странные слова: «Я уже не могу бунтовать против кадет... Это временное, надеюсь. Я ведь люблю кадет по крови, я ниже их во многом, но мне было бы стыдно быть с ними». Чего же стыдится Блок? Очевидно, любви к себе самому, другой ответ кажется невозможным. Большевики — не свое, они для него отречение от себя, и на почве этого отречения вырастает в нем какая-то надрывная любовь к ним. «Ненавидящая любовь — вот мое отношение к России». Но что же любил Блок в России и за что он ее ненавидел?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вернуться к блоковским понятиям цивилизации и музыки, сочетание которых в применении к России неожиданно связывает его с Иваном Киреевским: если и не антирелигиозного, то все же антицерковного поэта с трезвенным православным церковником. Блок убежден, что в западноевропейской цивилизации, порожденной просвещенской философией и французской революцией, умер гуманизм и вместе с ним целостность европейской культуры и европейского человека. Он уверен, что великое движение гуманизма, в котором искусство было неотделимо от науки, превратилось в цивилизацию, в которой начало единства разбилось на множество отдельных знаний и устремлений. Эти мысли полно-

стью совпадают с тезисами Ивана Киреевского<sup>5</sup>. Отсюда и одинаково отрицательное отношение обоих к западноевропейским либералам и социалистам, как носителям и распространителям утратившей целостность, распыленной псевдокультуры. Эта у Киреевского блестяще сформулированная критика западнической цивилизации завершается надеждой, что стоящая пока еще у порога западничества Россия сможет удержать в себе начало целостности, составляющей особенность православного христианства. Этот выход для Блока закрыт не только потому, что ему чужда церковь, но и потому, что Россия со времен славянофильства прошла длинный путь приближения к Европе. Ненавидя перенесенную с Запада в Россию цивилизацию, он гневно критикует русских представителей этого враждебного ему мира либеральных просветителей, почему-то считающих, что русский народ рано или поздно должен будет проникнуться западничеством. По его мнению, это было бы несчастьем России: «Нести цивилизацию в массы не только невозможно, но и не нужно. Если же мы будем мечтать о приобщении человечества к культуре, то неизвестно еще, кто кого будет приобщать с большим правом: цивилизованные люди варваров или наоборот». В глубине души он верит, что в связи с тем что цивилизованные люди измельчали и потеряли культурную целостность, ничего не остается, кроме надежды на пока еще не культурные массы, как на создателей новой по-новому целостной культуры. Эти мысли чуть ли не в каждой фразе блоковских размышлений сливаются с мотивом музыки, как верховного начала исторического процесса. Буржуазная цивилизация умирает от глухоты. Революция же ворвется в жизнь новой музыкой и возродит целостную культуру.

Описание Блоком утратившей целостность личности и культуры цивилизации дышит такую большевистскую ненавистью к дореволюционной России, что трудно удержаться от предположения, что в предчувствии космической музыки он сам потерял возможность слышать тот отзвук гуманизма, который все же остался в европейской цивилизации и ее социально-просветительных заботах о человеке. Судьями этой перенесенной и в Россию цивилизации у Блока является русский народ, «только что с кровати свалившийся Иванушка-дурачок», в дурацких мыслях которого таятся, по мнению Блока, «великие творческие силы».

«Почему учредилка?.. Потому что самому все хочется «проконтролировать», сам все хочу, не желаю, чтобы меня «представляли» (в этом — великая жизненная сила, сила Фомы Не-

верного)»<sup>6</sup>. К этим размышлениям Иванушки-дурачка Блок прибавляет свои собственные: потому что самые цивилизованные страны (Америка, Франция) сейчас захлебнулись в выборе мошенничестве, в выборном взяточничестве.

«Почему “долой” суды?.. Потому, что судья — барин и “аблакат” — барин, толкуют промеж себя, происходит “судоговорение” над несчастной головой жулика. Жулик — он жулик и есть; уж согрешил, уж потерял душу; осталась одна злоба или одни покаянные слезы: либо удрать, либо на каторгу; только бы с глаз долой. Чего ж еще над ним, напакостившим, измываться?»

«Почему дырявят древний собор?.. Потому, что здесь ожиравший поп, икая, брал взятки и торговал водкой».

Приняв на себя и свой класс вину за все социальные преступления, творившиеся в царской России, Блок заканчивает свою гневную статью воспеванием революции. Он согласен заранее на все, что она натворит, так как он не знает, что «страшнее: красный ли петух и самосуды в одном стане или гнетущая немзыкальность в другом». С меткой злостью портретирует Блок образы законопослушной буржуазной немзыкальности:

*Семья:* «Слушайся папу и маму». «Прикапливай деньги к старости». «Учись, дочка, играть на рояли, скоро замуж выйдешь». «Не играй, сынок, с уличными мальчишками, чтобы не опорочить родителей и не изорвать пальто».

*Средняя школа:* «Пушкин — наша национальная гордость». «Пушкин обожал царя». «Люби царя и отечество». «Если не будете исповедоваться и причащаться, вызовут родителей и сбавят за поведение». «Замечай за товарищами, не читает ли кто запрещенных книг». «Хорошенькая горничная — гы».

*Государственная служба:* «Враг внутренний есть студент». «Бабенка недурна». «Я тебе покажу, как рассуждать». «Сегодня приедет его превосходительство, всем быть на местах». «Следите за Ивановым и доложите мне».

Заканчивается эта портретная галерея портретом буржуа: «У буржуа — почва под ногами определенная, как у свиньи — навоз: семья, капитал, служебное положение, орден, чин, Бог на иконе, царь на троне. Вытащи это, и все полетит вверх тор-машками».

Как видно, ненависти в обвинении как правящего в государстве дворянства, так и мещанской буржуазии в дневниках и статьях Блока сколько угодно, но ни образа будущего, ни каких-либо программных положений в них найти нельзя, по-



скольку в них встречается пролетариат, он рисуется лишь как еще не вспаханная почва, на которую прольется музыка революции и которая после этого ливня зацветет новыми образами мировой культуры.

Во всем, написанном Блоком, не найти ни одного образа сознательного коммуниста, героически настроенного борца, знающего, чего он хочет, и твердым шагом грядущего в будущее. Приближается к этому образу разве только агитатор в известном стихотворении 1905 года «Митинг», которого во время речи кто-то из толпы убивает камнем. Все стихотворение, и в частности образ оратора, производит странное впечатление своей несхожестью с духом революции и блоковским отчуждением от нее. Говорит агитатор «умно и резко», но его «тусклые зрачки» льют в толпу не свет, а лишь метают «слепые огоньки». «Его движения» «верны», но, очевидно, и несколько скучны: «И борода качалась мерно в такт запыленных слов». Говорил он, конечно, о свободе, но слова звучали как будто он говорил о кабале: «Цепями тягостной свободы (он) уверенно гремел». Свободу обретает агитатор, в конце концов, лишь после смерти:

И были строги и спокойны  
Открытые зрачки,  
Над ними вытянулись стройно  
Блестящие штыки.  
Как спрятанный у входа  
За черной пастью дул  
Ночным дыханием свободы  
Уверенно вздохнул.

Таких быстрых зарисованных бытовых картин у Блока немало. Все они полны уныния и какой-то бытовой серости текущей революционной жизни. В качестве эпитафии к ним можно было бы поставить блоковские слова: «Чего нельзя отнять у большевиков, это их исключительной способности вытравлять быт и уничтожать отдельных людей» (дневник 11 июня 1918 года). И дальше: «Не знаю плохо это или не особенно. Это факт».

Из всего сказанного мною об историософских и политических взглядах Блока следует с неоспоримой ясностью, что ни с марксизмом, ни с ленинизмом, ни с понятием пролетарской революции у него не было ничего общего. Есть только одно революционное имя, которое приходит в голову, читая блоковскую философию разрушения: это имя Михаила Бакунина<sup>7</sup>. Пафос Бакунина — свобода, абсолютная свобода; на пути ее осуществления в будущем стоит все уже созданное. Отсюда задача революции — разрушать прошлое ради рождения будущего. Извес-

тен бакунинский призыв: «Доверьтесь вечному духу, который лишь потому все разрушает и все уничтожает, что неустанно творит в себе великое будущее». Отсюда и бакунинское прославление библейского дьявола, этого извечного бунтаря и безбожника, начавшего великое дело освобождения человека от невыносимого рабства у Бога.

И психологически и стилистически Блок, конечно, мало похож на несущегося сквозь грозы и бури Бакунина. Но их понимание революционного процесса не столько как социально-политической борьбы классовых сословий, а как почти космического события, очень близки друг другу. В бакунинском исступлении о свободе явно звучит блоковская музыка революции, под которую невозможно пропеть «Интернационал» и под звуки которой нельзя двинуться к Зимнему дворцу: в ней совсем другие вихри.

В декабре 1917 года советская делегация подписала Брест-Литовский мир. Блок отмечает этот трагический факт в дневнике, но не отзывается ни одним политически существенным словом на парадоксальное решение Ленина, против которого были Бухарин и Троцкий. В его душе сразу же вскипает волна совсем иных чувств: он гневно требует от французов и англичан, чтобы они спасли русскую революцию и грозит им, в случае, если они этого не сделают, наступлением на них Азии. Тут в нем впервые рождаются мысли, которые были впоследствии развиты в его знаменитой поэме «Скифы».

Такова бакунински-блоковская концепция революции, которая дала поэту возможность в качестве блудного сына прикнуть к большевистской революции.

К. Чуковский рассказывает в воспоминаниях, что в начале октября 1917 года Блок был в гостях у знакомых и в шумном споре защищал Октябрьскую революцию. Говоря очень горячо, он неожиданно для слушателей, а может быть и для себя самого, сказал: «А я у каждого красноармейца вижу ангельские крылья за спиной». В этих словах уже прозвучала музыка «Двенадцати». О том, как эта воображаемая музыка, всю жизнь преследовавшая его, превратилась в вполне реальную, Блок рассказал в записи от 9 января 1917 года: «На днях я лежал в темноте с открытыми глазами, слушал гул, гул; думал, началось землетрясение». Через два дня гул начал превращаться в музыку, но в музыку, отмечает Блок, иную, чем ту, которую он слышал всю свою жизнь. На мгновение мелькнула привычная, подсказанная Соловьевым мысль, что началось восстание желтого Востока против Запада<sup>8</sup>, но вдруг стало ясно: не гул землетрясе-

ния, не шум желтых полчищ, а мировая музыка крушения старого мира.

Для правильного понимания налетевшей на Блока космической музыки важно не упускать из виду блоковского протеста против его врагов-хулителей, считавших «Двенадцать» политическим стихотворением. Через год после написания нашумевших во всем мире «Двенадцати» Блок пишет: «Во время окончания “Двенадцати” я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум ветра, шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира). Потому те, кто видят в “Двенадцати” политическое произведение, или очень далеки от искусства, или сидят по уши в политической грязи»<sup>9</sup>.

В этом повторном рассказе о возникновении космической музыки есть два момента, которые, бесспорно, приглушают восторг первой записи от 9 января. Во-первых, слово «вероятно», а во-вторых, признание, что он, Блок, в январе 1918 года последний раз «отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914 года». О чем говорят эти данные? Мочульский правильно отмечает: «В январе стихия влюбленности в Н. Н. Волохову и создание “Снежной маски”. В марте 1914 года стихия влюбленности в Л. А. Дельмас и создание цикла “Кармен”. В январе 1918 года — третья, по признанию Блока, слепая стихия влюбленности в революцию и создание “Двенадцати”»<sup>10</sup>. Ничего недопустимого в предположении, что Блок революцию ощущал так же персоналистично, как любовь, найти нельзя. В молодости он был влюблен в Прекрасную Даму и страшился, что она изменит свой образ. Она, конечно, образа не изменила, но Блок сам изменил этому образу, закружился в снежных масках и в цыганских песнях. Нечто аналогичное произошло с ним и в отношении революции: он влюбился в нее, как в некую надземную силу, как в музыку иных сфер и изменил этой космической музыке с глухой к ней большевистской революцией. Большевики же эту измену космической революции охотно приняли как верность своей, хотя революционер Блок и провозглашал совершенно бессмысленные в их плане вещи. На обличительное письмо Зинаиды Гиппиус он отвечал: «Неужели вы не знаете, что России так же не будет, как не стало и Рима, не в пятый век после Рождества Христова, а в первый год рождения Христова, так же не будет, как Англии, Германии и Франции. Неужели вы не видите, что старый мир уже расплавился»<sup>11</sup>.

Замечание о том, что Рима не стало в первый год первого столетия, указывает на то, что коммунизм войдет в мир как не-

кая новая религия, так же как вошло в него христианство, но какие догматы и какой пафос коммунистическая религия внесет в мир, об этом Блок опять ничего не говорит, если не считать восторженно нигилистического возгласа, что все горит: «религия, культура, искусство, честь, нравственность, право». В этом восторженно мистическом нигилизме отдаленно звучат ноты бакунинского анархизма, но коммунизму он, конечно, абсолютно чужд; чужд он и научной объективности, ибо христианство античного мира не разрушило. Оно унаследовало его и преобразило. В известном смысле античный мир можно также считать Ветхим Заветом христианства, как древнееврейский.

Все сложное, до конца вряд ли выяснимое отношение Блока к большевистской революции с наибольшей глубиной раскрывается в «Двенадцати». О художественных достоинствах поэмы говорить не приходится. Ее ритмические особенности смены плясовых размеров:

Эх, эх попляши! больно ножки хороши!  
Эх, эх, поблуди! сердце екнуло в груди!

классическими четырехстопными ямбами при описании уже похороненных революцией людей, как и портреты этих людей, производят при каждом перечитывании «Двенадцати» очень сильное впечатление:

Стоит буржуй на перекрестке  
И в воротник упрятал нос.  
А рядом жметя шерстью жесткой  
Поджавший хвост паршивый пес.

Стоит буржуй, как пес голодный,  
Стоит безмолвный, как вопрос.  
А старый мир, как пес безродный,  
Стоит за ним, поджавши хвост.

Как жанровая картина революционной петербургской улицы «Двенадцать» представляет собой верш совершенства. Но если рассматривать эту поэму как защиту Октябрьской революции, то нельзя не согласиться с Блоком, что она очень далека от политики. С политическим врагом красногвардейцы не встречаются, да и какие они, в сущности, гвардейцы? просто русские ребята, «стальные винтовочки» которых направлены на «незримого врага». На их приказ: «Кто еще там? — Выходи!» никто не выходит: «Это ветер с красным флагом разыгрался впереди». Мораль красногвардейцев не очень высока: «Запирайте этажи, нынче будут грабежи! Отмыкайте погреба! гуляет нынче голытьба!» Да и попутное убийство проститутки не свидетель-

ствуует об очень высоком напряжении революционной борьбы. Но вот — совсем неожиданно поэма кончается появлением Христа:

Нежной поступью надвьюжной,  
Снежной россыпью жемчужной,  
В белом венчике из роз —  
Впереди — Иус Христос.

Это появление одинаково сильно смутило как врагов Блока-революционера, некогда его ближайших друзей, так и его новых друзей большевиков. Начались странные толкования поэмы. Волошин додумался даже до мысли, что не Христос ведет красногвардейцев, а что они Его гонят на казнь<sup>12</sup>. Горький поэмы не понял и отделался пустяковым замечанием<sup>13</sup>. Непонятным появление Христа показалось и самому Блоку: «Когда я кончил поэму, я сам удивился, почему Христос, неужели Христос, когда надо, чтобы шел Другой»<sup>14</sup>. Начертание другого с большой буквы неоспоримо указывает на то, что Блок под «Другим» понимал антихриста. «Но чем больше я вглядывался, тем явственнее видел Христа и тогда же записал себе: к сожалению, Христос, именно Христос». Это подчинение воле своего произведения было Блоку не легко. Его отношение к Христу, которое в нем не раз менялось, было во время написания «Двенадцати» явно отрицательным, как-то брезгливо отрицательным, в чем он сам признавался: «Я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак»<sup>15</sup>.

Чем объяснить эту раздвоенность? Как понять, что Блок, который считал, что красногвардейцев должен вести антихрист — какая страшная мысль, что именно он будет строить грядущую Россию, — провозглашает вождем революции, а тем самым и устройтелем новой России Христа. Вполне определенный ответ на этот вопрос дал в своей книге Мочульский. Исходя из своего христианского мирозерцания, он различает в Блоке два ума: большой и малый. Желание видеть во главе красногвардейцев антихриста представляется Мочульскому порождением малого ума, но Блок преодолевает это искушение: он больше не сомневается, что с ними Христос. Слабость этого понимания заключается в том, что ведь Блок признается в своей ненависти к Христу уже после написания «Двенадцати», то есть после того, как он, по мнению Мочульского, перестал сомневаться и поверил, что красногвардейцев ведет Христос.

Мне кажется, что Христа потребовала от Блока не вера, вдруг осевшая на него, не большой ум, по Мочульскому, а вер-

ность художественному взгляду. Защищаясь от своих левых друзей, обвинявших его в том, что он восхваляет Христа, Блок настаивает, что он Его не восхваляет, а только констатирует факт: «Если взглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь Иисуса Христа. Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный образ». Эти слова ясно показывают, что он видит то, во что не верил. Кто же подослал Христа поэту, не верящему в Него?

Слышал я твой голос сердцем вещим  
В криках лебедей.

Голос, который слышится поэту, должен был бы быть голосом подруги дальней, той Вечной Женственности, которой поэт в то время был еще близок и верен.

Но последняя строфа этого стихотворения говорит уже о другом образе:

И когда, наутро, тучей черной  
Двинулась орда,  
Был в щите Твой лик нерукотворный  
Светел навсегда.

Блок умер во мраке и муках, и все же мы смеем надеяться, что усилия России спасти своего любимого сына не окажутся тщетными. Его последние предсмертные слова, сказанные в 21-м году — в августе этого же года он умер, — звучат не только признанием, но и любовью: «А все-таки я Христа никому не отдам»<sup>16</sup>.

